

И действительно, уверенно опознать за «Одноколкою» миф о Фаэтоне было бы едва ли возможным, не окажись тут среднего члена сравнения — пересказа и истолкования этого мифа в одной из проповедей Симеона Полоцкого:<sup>10</sup> «Пиитове утвориша баснь о Солнце, нарекоша его отца сыну Фаетону и глаголют, яко Фаетон видя отца си любве к себе безмерную горячесть, дерзнул есть просити его, да даст ему на своей огненной колеснице и на быстротекущих конех чрез един день токмо яждением утешитися. Отец безмернем любве обдержимый, не отрече сыну просимаго. Но внегда всед Фаетон на колесницу, не веде коней правительствовати, тогда вмале небесе и земли не сожже огнем отчим, за что Дий, небесе владетель, уби его молнииноу стрелою и труп с небесе низвергль есть».

Пересказ Полоцкого не просто ограничен изложением лишь основного фабульного звена. Он вырывает это звено из внутренних сюжетно-композиционных связей и мифологических мотивировок, в частности хотя бы той, что Гелиос прежде в доказательство своего отцовства связал себя клятвою исполнить любую просьбу сына, в безумном дерзании которого Полоцкий, естественно, не увидел и не мог бы увидеть ничего, кроме пагубного самовольства. Тем понятнее и заключительное назидание христианского проповедника: «Баснь се есть пиитическая, но родителем в наставлении полезна: да не всякому чад прощению соизволение творят, и да не попускают им на конех самовольства, на колеснице богатств си без управителя яждения деяти, — да не искусни суще правления свирепых коней воли своя, огнем похотей и ярости на смертную казнь себе заслужаст».

За Полоцким подобному повороту фабулы следует и Сумароков. Но если Полоцкий главным образом скрадывал и приглушал элементы языческого фона, то Сумароков устраняет всякие признаки иноземного мифа, и все события, как это часто свойственно Сумарокову, переносятся на русскую бытовую почву.

В то же время динамическое описание беспорядочной скачки: метание коней из стороны в сторону — страх и неумение дитяти править — брошенные вожжи, а затем и заключительное «летит мое дитя с небес» — весь этот несравненно более полный, нежели у Полоцкого, параллелизм рассказу Овидия свидетельствует, что Сумароков был также знаком и с более развернутым изложением античного мифа. Но его житейски дидактическое истолкование, а потому и самый толчок к бытовой проекции мифа — в басне Сумарокова идут от Полоцкого.

#### IV

Итак, материальные, в смысле сюжетных источников, связи сумароковских притч с русскими переводами или пересказами античных фабул мне представляются доказанными. Но обнаружение сюжетных связей притч Сумарокова с допетровскими переводами неизбежно ведет и к вопросу об отношении поэтики сумароковской басни к опыту русской литературы XVII в. Это тем правомочнее, что вся экспрессивно-стилистическая система сумароковской басни самим баснописцем понималась и выдвигалась не как индивидуальная, а как национальная система жанра:

На русску статью я Федре преврачу,  
И русским образцом я басню сплесть хочу.

(1762, кн. 1, № 24).

<sup>10</sup> Симеон Полоцкий. Обед душевный. М., 1681, л. 542—542 об.